

В ожидании Америки

Максим Д. Шраер

Авторизованный перевод с английского

2-е издание, исправленное



Москва
2016

УДК 82.312.6
ББК 84(7)6=44
Ш85

Редактор М. Савина

Шраер М. Д.

Ш85 В ожидании Америки / Максим Д. Шраер ; Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. — 314 с.

ISBN 978-5-91671-588-0

Максиму Д. Шраеру, известному русско-американскому писателю и профессору литературы, едва исполнилось двадцать, когда он с родителями покинул СССР. Прошлое еврейской семьи уместилось в пяти чемоданах багажа. Позади — годы отказа, впереди — полная неизвестность. Когда самолет из Москвы приземлился в Вене, для бывших советских граждан началась новая жизнь. Эмиграция пугала и поражала одновременно. Три месяца, проведенные в Австрии и Италии в ожидании американской визы, превратились для героя и всей его семьи в настоящее приключение на пути к долгожданной Америке.

УДК 82.312.6
ББК 84(7)6=44

Некоторые имена и названия изменены

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru.

Оригинал книги опубликован на английском языке в 2007 г. под названием *Waiting for America: A Story of Emigration*.

- © Оригинал и русский перевод. Максим Д. Шраер (Maxim D. Shrayer), 2013, 2016
All rights reserved worldwide.
- © Издание, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2013, 2016

ISBN 978-5-91671-588-0 (рус.)
ISBN 978-0-8156-0997-1 (англ.)

*Эмилии Шраер и Давиду Шраеру-Петрову
с любовью*

Моя огромная и замороженная
Mademoiselle вполне мыслима на земле,
но невозможна в вечности. Удалось ли
мне выволить ее из моих сочинений,
не знаю.

Владимир Набоков

Я говорил по-итальянски лишь тогда,
когда мы с отцом навещали ворона
в парке на Вилле Боргезе и кормили его
арахисом.

Джон Чивер

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ | Бегство

1

Винервальд

В 1987-м, в начале июня, через два дня после того, как мне стукнуло двадцать, наша семья эмигрировала из Советского Союза. Почти девять лет мы безуспешно пытались получить разрешение на выезд, боролись, теряли надежду и обретали ее вновь. Мне было девять лет, когда родители решились эмигрировать; ко времени отъезда я был на третьем курсе университета.

Ночью в Москве шел дождь, и, когда ранним утром мы в последний раз вышли из дома, мостовые и тротуары были покрыты одеялом летнего снега — тополиного пуха. В аэропорт мы ехали на черной БМВ с дипломатическими номерами. Наш друг и покровитель, сотрудник отдела культуры американского посольства, предложил отвезти нас в Шереметьево-2 и посадить в самолет. Чтобы убедиться, что напоследок служба госбезопасности не приготовила нам никаких сюрпризов.

В суете и хаосе аэропорта я мысленно прощался (навек, как мне тогда казалось) со всей прежней жизнью. С нами ехали бабушка, моя тетя (младшая сестра моей матери) и ее одиннадцатилетняя дочь. Бабушке, вдовевшей не один год, было семьдесят три. Голубоглазая, с завитыми, выкрашенными в янтарный цвет волосами, в юбке медово-кориандровых тонов и желтой шелковой блузке оттенка бледного тюльпана, она выглядела значительно моложе своих советских лет. В руках бабушка крепко держала огромный кожаный ридикюль. В Москве они все —

бабушка, тетя и двоюродная сестренка — жили в одной квартире, образуя ядро семьи, в которой не было отцов и мужей. Теперь им предстояло первыми пройти таможеню. Высокая женщина-сержант, которая в другой жизни, наверное, остригала несчастным волосы в предбанниках газовых камер, приказала бабушке встать отдельно от дочери и внучки и увела ее на личный досмотр. В этот момент моя двоюродная сестра, будто осознав окончательность отъезда, вдруг зарыдала и, размазывая по лицу слезы, стала неистово рваться к отцу, стоявшему за перегородкой. Ее родители давно разошлись, и отец оставался в России со своей новой семьей. Невыносимо было смотреть на эту девочку в платьице в красный горошек, с ангельскими кудряшками, навек прощающуюся с отцом. Я почувствовал облегчение, когда меня вызвали к таможенной стойке.

— Куда направляемся? — спросил меня до глупости улыбчивый лейтенант службы досмотра, одновременно прощупывая со всех сторон мой ярко-синий рюкзачок. — В южном направлении или в Штаты?

Игнорируя вопрос, я уставился на свои новые черные блестящие туфли, сделав вид, что не понял вопроса. Естественно, я знал, что «в южном направлении» означает Израиль, и не хотел вступать в этот провокационный разговор.

Я был другим человеком, когда в июне 1987-го уезжал из России. Более дерзким, смелым, даже отчаянным, но в то же время менее чувствительным, менее способным к терпимости и, уж конечно, более категоричным. За двадцать лет советской жизни я привык ожидать проявления антисемитизма и был готов защищать свою честь кулаками. Я искренне считал Рональда Рейгана прекрасным президентом лишь потому, что Рейган яростно противостоял «империи зла» — Советскому Союзу. Худой, долговязый, я носил

короткую стрижку с челкой над бровями а-ля юный Пастернак. И был абсолютно поглощен собой, как бывает только в молодости.

— Что в карманах? — спросил таможенник, заводясь от моего упрямого молчания.

Я методично выложил на стойку все содержимое карманов своего нового светлого костюма в мелкую клетку, присланного нашим дядей Пиней из Израиля. Там были маленький блокнотик в кожаном переплете с набросками будущих стихов, рулетка, два носовых платка, драгоценная кассета с фотопленкой и шоколадка, которую кто-то мне сунул в аэропорту. В этот день мы были одеты в самые нарядные вещи: вступая в новую жизнь, мы хотели выглядеть как можно респектабельнее.

Миновав таможенно и пройдя паспортный контроль, мы замедлили шаг. Еще один, теперь уже последний взгляд на провожающих — небольшую группу друзей и родственников. Я смотрел на моих дорогих друзей. Вот он, мой разорванный магический круг: Миша Зайчик, впервые отпустивший бороду; Таня Апраксина, с невероятными ногами и осанкой балерины; Алик Фраерман, весельчак-левантинец; Леночка Борисова, с тушью, размазанной по круглым славянским щекам; аристократ и флегматик Федор Боголепов, пытающийся выловить носовой платок из кармана своего вельветового пиджака; Лана Бернштейн — стрижка в духе югендстиля, великолепно вылепленный нос и изящные руки. Среди них не было «моей» девушки, да у нас тогда не было герлфрендов и бойфрендов в американском смысле слова — только девочки и мальчики, с которыми мы дружили и встречались, только и всего. Да, Лана Бернштейн была моей первой любовью, но не моей «официальной» подругой. По ту сторону турникета стояли самые дорогие мне люди и махали на прощание. Увижу ли я их когда-нибудь?

Вот о чем я думал, когда аэрофлотовский стюард вел нас в зал ожидания пассажиров первого класса.

Мы летели первым классом просто потому, что в первый класс было легче купить билеты. Получив, наконец, разрешение на выезд после девяти лет в чистилище отказа, мы не хотели ни одного лишнего дня оставаться в России. В английском слово *refusenik* соответствует советскому слову «отказник» и должно означать «тот, кому отказано в разрешении уехать» из Советского Союза. Но на самом деле в английской перелицовке этот термин приобрел двусмысленность, ирония которой вряд ли намеренна: это советская власть «отказывала», а единственное, от чего отказывались сами евреи, — это от билета в советский рай.

Вскоре нам принесли напитки и тартинки с черной икрой. Родители судорожно стали меня обнимать. Мама пригубила бокал с тоником; она дрожала, а в глазах стояли слезы.

— Ты замерзла? Хочешь мой пиджак? — спросил отец.

— Подожди, не могу говорить, — прошептала мама, уткнувшись головой ему в плечо. Одной рукой она шарила в замшевой сумочке, где были сигареты и спички.

Маме было тогда сорок семь. У нее были пепельно-золотые волосы. Уже в Америке, от невозможности забыть советское прошлое, они обрели ртутный блеск. Летом мамины волосы становились слегка волнистыми и выгорали на солнце. А большие серо-голубые глаза, пронзительные и пронцательные, смеющиеся или ниспровергающие, летом принимали глубокий оттенок аквамаринового свечения — этого чуда морской воды и солнца. Но сейчас в ее глазах была соль от едва сдерживаемых слез, они блестели от бессонной ночи и от флуоресцентных ламп, освещавших зал ожидания первого класса.

— Мы вытащили тебя отсюда, сынуля. Наконец-то мы тебя вытащили, — сказал мне отец. Странное сочетание изощренности и ярости, недоверия и наивности скользнуло в его воспаленных, серо-зеленых глазах, глядевших из-под прямоугольных черепаховых очков. Отец не мог уснуть перед отъездом, бродил по округе до рассвета. А утром зашел его друг — Генрих Сапгеер, чтобы проститься. Они вместе завтракали, пили коньяк.

Моему отцу, писателю и ученому, шел пятьдесят второй год. Американский тележурналист, который брал интервью у моих родителей еще в Москве, а потом поддерживал с нами связь в Америке, спустя много лет поведал мне, что в шестьдесят один отец выглядел лучше, чем в Москве десятью годами раньше. За год с лишним до нашего отъезда отцу два месяца пришлось скрываться от КГБ. У отца за границей вышел роман; к нему приставили постоянную слежку. После двух месяцев такой жизни у отца случился инфаркт. Рубец на сердце зажил, а вот тяжелые воспоминания о тех днях еще долго мучили. В утро нашего отъезда отец надел темно-синий пиджак, который мы называли «клубным» в честь мифической британской моды, серые габардиновые брюки и бордовые кожаные испанские туфли. Черно-коричневый портфель-дипломат, в котором лежали все наши документы, отец не выпускал из рук.

— Мы вытащили тебя, — лихорадочно повторял отец, целуя меня и маму, словно слепой, тыкаясь в наши носы, подбородки, лбы.

Наша семья стояла на пороге другой, «западной» жизни. Как вскоре выяснилось, несмотря на годы ожиданий и приготовлений, мы оказались к той жизни вовсе не готовы.

Через полчаса мы сели в самолет. Стюардессы Аэрофлота, одетые в синюю форму, выглядели как кинозвезды. К нам они уже не относились как к своим —

субъектам советской империи. Мы, эмигранты, для них были почти иностранцами, а иностранцам они выказывали значительно больше почтения, чем своим согражданам. Мы летели над Украиной, потом над Чехословакией и пили шампанское. Мы пили за наше избавление и все заглядывали в иллюминатор, пытаясь определить, миновал ли самолет невидимую границу Восточного блока. Багаж всей нашей жизни уместился в пяти чемоданах. Удостоверениями личности служили нам советские выездные визы с черно-белыми обезумевшими фотографиями. Нас лишили советского гражданства. Раньше мы были отказниками — заложниками режима; теперь же стали еврейскими беженцами — лицами без гражданства, единственной защитой которых служили шаткие международные соглашения. О будущем мы знали лишь одно — мы едем в Америку.

В венском аэропорту нашу группу, состоящую примерно из двадцати пяти советских беженцев, серо-голубые униформы отвели в какой-то зал ожидания или холл (здесь в моих воспоминаниях панический пробел). Мы стояли, сгрудившись, в ожидании первой разлуки.

— В Израиль? Кто-нибудь в Израиль? — выкрикнула по-русски высокая загорелая женщина, представительница израильского Министерства абсорбции.

Выпустив из рук портфель, мой отец дрогнул. Он распахнул руки и разомкнул сухие губы, будто бы хотел подать знак или что-то сказать этой израильтянке. Мама посмотрела на отца с укоризной.

— Пожалуйста, не начинай опять... — прошептала она, и этот свинцовый шепот достиг ушей окружающих нас беженцев.

Справа от нас притулился Анатолий Штейнфельд, бывший университетский профессор-античник.

В 1980-м он попал «в отказ» и потерял работу. Мои родители были со Штейнфельдом шапочно знакомы — по отказническим делам — и не жаловали его за хроническую надменность. В годы «отказа» Штейнфельд преподавал историю в вечерней школе рабочей молодежи. Ему было около сорока пяти, он был дважды разведен и в Москве оставил дочку-подростка. Полиглот, Штейнфельд был известен в кругах московских отказников прежде всего тем, что, ни разу не побывав за пределами СССР, свободно владел английским, немецким, французским, итальянским и испанским языками. Второй заявкой на славу была его близость к известному деятелю русской православной церкви, отцу М., выходцу из евреев, поставившему себе целью крестить других евреев. Его духовными чадами по большей части становились интеллектуалы, художники, литераторы, музыканты. Под влиянием отца М. в 1970-е Штейнфельд крестился, а позднее стал распространять среди отказников идею, что евреи-христиане — «дважды избранные» — и посему несут двойную миссию. Штейнфельд стригся под Юлия Цезаря и культивировал отталкивающую бледность на пухлых щеках и двойном подбородке.

— Кто захочет ехать в Израиль?! — произнес Штейнфельд громко, чтобы сквозь шум терминала вся наша группа беженцев услышала его слова. — Полицейское государство, — добавил он, неприятно ухмыльнувшись.

Подобно быку, которому показали красную тряпку, мой отец не смог проигнорировать ядовитый смысл, который Штейнфельд вложил в слова.

— Послушайте, Штейнфельд, — начал отец, раскачиваясь на ногах, словно вспомнив боксерское прошлое. Ему пришлось бросить бокс в мединституте, когда врачи объявили, что иначе он потеряет зрение. — Послушайте, Штейнфельд, — повторил отец,

подавшись к нему головой и всем корпусом, — куда кому ехать — это личное дело каждого. Но не смейте здесь поливать грязью Израиль. Если бы не было Израиля, вы бы до сих пор преподавали французскую революцию пьяницам и прогульщикам.

Мама потянула отца за рукав клубного пиджака.

— Если бы не ваша очаровательная жена, вы бы давно стали форменным сионистом, не так ли, господин писатель? — сказал Штейнфельд, поведя жирным подбородком.

— Есть кто-нибудь в Израиль? — израильская амазонка спросила в этот раз таким голосом, каким бармен объявляет последний раунд коктейлей.

— Да, здесь! — крикнула девушка лет двадцати, обращаясь к амазонке. — Кэн!

«Кэн» означает «да» на иврите, и, услышав это слово, вся наша группа беженцев разомкнула ряды, пропуская вперед девушку и ее семью. Девушка уезжала из Москвы с отцом, старым отказником, его второй женой и их двумя маленькими детьми. Мать этой девушки умерла от лейкемии, пока они сидели «в отказе», и отец спустя некоторое время женился во второй раз — на молодой женщине.

— Ну что, папа... — сказала девушка, взяв отца за руку. — Удачи вам в Америке!

Она поцеловала отца в лоб, потом обняла и поцеловала своих сводных братиков, но обошла стороной их маму.

— Пойдем, моя хорошая, — сказала израильтянка и обняла юную сионистку. — А то пропустишь рейс на Тель-Авив.

— Аня, — отец девушки сказал умоляющим голосом, протягивая к ней дрожащую руку, словно пытаясь в последний раз переубедить ее. — Анечка, подожди!

Но амазонка уже вела его дочь по направлению к алюминиевой двери в другом конце зала ожидания.

— Больше никого нет в Израиль? — воскликнул худощавый лысый человечек, который появился ниоткуда и предстал перед нашей группой. Он был в белой льняной кепке, желтой рубашке апаш и белых брюках. На вид ему было лет шестьдесят, и говорил он по-русски с местечковым выговором, примерно так, как разговаривала покойная тетушка моего отца из Минска, только с еще более сильным идишским акцентом и презабавными ударениями. На его левой ладони лежала записная книжечка, по которой он постукивал толстой серебряной перьевой ручкой.

— Что, слишком жарко там для вас? — быстроглазый человечек подмигнул нам всем сразу, а потом снял колпачок с серебряной ручки.

— Все меня слышат, да? — спросил он, делая один шаг вперед.

— Да. Хорошо, — раздалось несколько голосов ему в ответ.

— Меня зовут Сланский, — объявил он громко, напирая на шипящие, как старая травяная змея. — Я работаю в ХИАСе, это означает еврейское общество помощи иммигрантам. Вообще-то я из Польши, из-под Варшавы. Я и моя жена, — он повернул голову налево, указывая на стоящую рядом блондинку лет пятидесяти. Блондинка была одета в блузку с золотыми ромбиками и белую юбку и колыхалась на высоких каблуках. — Ее звать Бася. Мы уже с ней живем в Вене двадцать пять лет и почти столько же работаем в ХИАСе. Так что уж вы не волнуйтесь, мы поможем вам, доставим в гостиницу. Вопросы зададите, когда мы поедем из аэропорта. У нас три минивэна. Я за рулем, моя дорогая женка ведет другую машину, а еще у нас тут Попеску, румын, на третьей машине с нами работает. Он, кстати, тоже говорит по-русски. Так что, уважаемые беженцы, давайте уже пойдем. Возьмем багаж, там, кстати, и туалет есть, если кому нужно.

Разобравшись с багажом, супруги Сланские переписали наши имена и принялись делить нас на группы по восемь-десять человек в каждой. Пока они темпераментно обсуждали по-польски, как скомпоновать группы в соответствии с количеством мест в отелях и пансионатах для беженцев, я стал выходить из состояния паралича сознания, в которое впал, сойдя с трапа. В первый час по прибытии в Вену я словно онемел и с трудом мог воспринимать окружающее.

Порой в самые шоковые или душераздирающие моменты память фиксирует совершенно ненужные предметы. Мой взгляд упал на группу из шести человек, выделявшихся среди новоиспеченных беженцев. Они замерли в ожидании, как провинциальное семейство в мастерской стародавшего фотографа. В центре группы — самодовольный господин лет сорока двух, в черном костюме и огромной шерстяной кепке — такие в России называли «аэродром» и недвусмысленно связывали с кавказским происхождением их обладателей. Широкий воротник его полосатой кремовой рубашки лежал на еще более широком отвороте пиджака. Словно марионетка, тлеющая сигарета свисала из угла рта. Мужчина в кепке-аэродроме поддерживал за локоть женщину с пышными темными волосами, покрытыми газовым золотистым платком. На ней было платье, вышитое золотой нитью. Женщина тревожно улыбалась. Слева от нее стояла девочка лет десяти-одиннадцати, в которой уже просыпались зачатки будущей женственности, как это бывает у девочек на Ближнем Востоке, в Передней Азии и на Кавказе. Она держалась за руку юноши, одетого в черный костюм с щегольским темно-вишневым галстуком, и, казалось, рассказывала что-то забавное, пытаясь расшевелить его, а он стоял словно манекен, позволяя девочке играть своей повисшей, как плеть, рукой. Его взгляд был устремлен вниз, на гранитные плиты, кото-

рыми был вымощен пол терминала. На плече у молодого человека висел узкий черный футляр с молниями. Справа от курящего мужчины и позолоченной женщины, на выдавшем виды коричневом фибровом чемодане, сидела пожилая парочка беглецов из этнографического музея. Старику было за семьдесят, он был невысок и жилист, с лицом, исчерченным стальной щетиной. Он был обут в нечто, напоминающее сапоги для верховой езды. Вместо пиджака на старике была черкеска из серого сукна с рядами газырей — традиционная одежда кавказских горцев. Черная папаха висилась как водокачка над городской площадью. Лицо старика не выражало ничего, кроме презрения к происходящему — презрения с примесью свирепости и храбрости. Зобатая жена старика с фарфоровыми блюдцами глаз припала к нему, как курица к насесту. Старуха была вся сплошь в черном, за исключением газового платка с серебряной нитью, покрывавшего голову. Несмотря на очевидную разницу темпераментов этих мужчин с Кавказа (разницу, которая иногда затуманивает фенотипическое сходство), все трое были очень похожи: невысокие, с крючковатыми носами, черными волнистыми волосами и тираническими бровями. Старик резким голосом что-то говорил своей старухе на языке, похожем на таджикский. Отец, чувствуя мое любопытство, объяснил:

— Это таты. Горские евреи. Они говорят на татском языке, смеси иврита и фарси.

— Откуда ты знаешь, пап? — удивился я.

— Довелось встречать татов, когда служил в армии, и потом в Азербайджане, в 60-е годы. А однажды даже переводил стихи татского поэта Кукуллу на русский язык.

Неожиданно юноша с узким черным футляром подошел ко мне. Нежно приложив тонкую ладонь к моему локтю, он сказал:

— Здравствуй, друг, меня зовут Александр. Я из Баку, из солнечного Азербайджана.

Я смотрел на этого юного музыканта, не говоря ни слова.

— Друг, куда они везут нас? Ты знаешь?

— В какой-нибудь отель, гостиницу или общежитие для беженцев, — проговорил я без всякой интонации.

— А я никогда не жил в общежитии, — возбужденно произнес юноша. — Дома, в Баку, у нас была великолепная квартира. Четыре комнаты. Знаешь, друг, — он посмотрел мне в глаза, — я так и не понял, зачем мы уехали. Никто против нас ничего не имел в Баку. Ни против нас, ни против друг друга. Мы все жили как братья — азербайджанцы, евреи, армяне, русские...

С некоторым усилием я вспомнил, что читал в старших классах об армянской резне в Баку где-то в начале двадцатого столетия, но мне совершенно не хотелось спорить с этим уже успевшим соскучиться по дому флейтистом. Я лишь легонько похлопал его по спине... А вскоре назвали и нашу фамилию.

Из аэропорта мы ехали в длинном серебристо-голубом вэне. Попеску опустил стекло и выбросил окурок на гладкую поверхность шоссе. С нами в машине ехали мои бабушка, тетя и двоюродная сестра, а также пара незнакомцев. Пожилая полная дама по фамилии Перельман держала путь в Калгари, чтобы воссоединиться с сыном и его семьей после восьми лет разлуки. Она рассказала, что ее муж, авиаконструктор, умер в России, так и не увидав своих «канадских» внуков. Другой наш попутчик, мужчина лет тридцати, дантист с густыми казацкими усами, тут же рассказал, что едет к своей невесте, живущей уже два года в Америке. Что она прилетит из Сент-Луиса, чтобы побыть с ним в Италии. Всю дорогу из аэропорта, пока мы мчались сквозь лиловые сумерки, растушеванные неоновыми огнями, дантист-ветрогон восторженно

комментировал все, что попадалось по пути. Выражался он в таком духе: «Вот это я понимаю — хайвей!» или «Посмотрите — какое тут все новое и чистое!»

Примерно через полчаса мы подъехали к пансиону для беженцев в городке Габлиц, всего в пяти милях от Вены. Это был трехэтажный дом с лепниной на фасадах, балконами и красной черепичной крышей. Владелица пансиона, болезненного вида дамочка лет сорока шести–сорока восьми, поздоровалась с нашим водителем-румыном по-немецки и принялась подписывать бумаги, которые он выложил на стойку приема посетителей.

— Эта женщина зовет Шарлотта, — проговорил румын на ужасающем русском. — Она здесь хозяйка. Очень жесткая. Нет улыбки, есть железная дисциплина. Как и все тут их, знаешь.

— Как нам связаться с вами в экстренном случае? — спросил дантист.

— В какой экстренной случае? — насмешливо спросил Попеску. — Расслабься, товарищ, ты в свободная страна.

Уже стоя в дверях, он повернулся и добавил:

— Не забывайте, завтра утром Сланский придет взять вас в Вену. Остальная семья из вашей группы живет в центре Вены, их везти не надо, а вас поставили в природе, и будет вас везти — очень неплохо.

Шарлотта, хозяйка пансиона, была одета в розовые джинсы и белую кружевную блузку. У нее было вытянутое землистое лицо; из-под неубранных волос торчал длинный восковой нос.

— Длинный Нос, — шепнул я по-русски маме.

Едва обращая на нас внимание, Шарлотта несколько минут изучала журнал регистрации гостей.

— Вы и вы, — наконец заговорила она, указывая пальцем на моих родителей. — Number Five, — и она протянула отцу ключ.

— Вы, вы и вы, — указала она на бабушку, тетю и двоюродную сестру. — Все вместе. Номер двенадцать.

— А мне куда? — спросил я.

— Вы, — Длинный Нос протянула свой желтый палец к моему подбородку, — номер семнадцать. Мансарда.

Мы перенесли наш багаж наверх, затем потащили баулы и чемоданы наших родственников. Вот только тяжеленный кофр моей тети остался ночевать внизу, в каморке. После ужина в столовой на нижнем этаже все уже падали с ног от усталости, и ни о какой прогулке по окрестностям не могло быть и речи. Я совсем не помню, как забрался в мансарду и упал на кровать как подрубленный.

Наутро после прилета в Вену я подошел к узкому окошку. Везде вокруг были пышные кроны Венского леса. В младших классах школы я солировал в хоре, и припев всплыл у меня в голове: «Венский лес (тра-ля-ля), мир чудес (тра-ля-ля)». Я принял душ в общей ванной на этаже, оделся и пошел прогуляться. Миновал виноградник, потом крошечную почтовую станцию. Я шел извилинами узкого шоссе, потом инстинктивно повернул налево и оказался на асфальтированной проселочной дороге, испещренной трещинами. Дорога поднималась в гору мимо заброшенного дома с высокой заостренной крышей и большим фруктовым садом, заросшим и одичавшим. Серая башенка замка, видневшегося вдали, проглядывала сквозь свежую зелень буков, дубов и вязов. Пожилой господин в черном костюме-тройке, белой рубашке с кроваво-красным галстуком и тирольской шляпе скрипуче поприветствовал меня словами «Грюсс Готт!» и отступил куда-то в глубины прошлого столетия. Иволга высвистывала флейтовый напев. Рыжая косуля перебежала дорогу и скрылась в тенистых зарослях. Три облачка

застыли у меня над головой. Только что вырвавшись из страны, где уединение было почти невозможным, я испытывал волшебное ощущение: я был совсем один. Человек без подданства и отечества, усталый странник, бредущий по Венском лесу.

После континентального завтрака Сланский, представитель ХИАСа, повез нас на своем красном сверкающем «Опеле» в Вену.

— Сперва, — обратился он к моему отцу, — вы как глава семьи пройдете интервью у израильтян. Есть такая договоренность между ХИАСом и израильтянами — они получают еще один шанс.

— Руки будут выкручивать? — спросила мама.

— Это вы сказали, дорогая мадам, а не я.

Сланский хихикнул, как сатир.

— Вы себе просто послушайте, что вам скажут, и вежливо им отвечайте: «Нет, благодарю». Они ничего с вами сделать не могут.

— Мы не собираемся в Израиль, — сказала мама. — А потом, когда интервью закончится, что будет?

— Потом суп с котом, — отрезал Сланский, гордый своим знанием русских пословиц и поговорок. — Терпение, мадамочка, вы больше не в Советском Союзе.

Мама мертвенно побледнела, но ничего не ответила.

Сланский высадил нас в центре Вены, напротив здания, где усталые кариатиды поддерживали окна верхних этажей.

— Как только закончите здесь, идите по этому адресу в офис ХИАСа. Второй этаж, вам там покажут, — и он вручил нам бледную фотокопию плана центрального района Вены с двумя пунктами, обведенными черными чернилами.

Мы с мамой прождали почти полтора часа за дверьми офиса, куда удалился отец в компании человека с огненно-рыжими волосами и толстым шрамом поперек лба. Когда отец, наконец, вышел, на нем

не было пиджака; узел полосатого серо-голубого галстука был распущен. Он выглядел бледным и изможденным, лоб и залысины блестели капельками дневной росы. Видно было, что его основательно помурыжили.

— Все, пошли, — процедил он сквозь зубы.

Мы вышли на улицу, загроможденную утренним движением, и отец пересказал нам содержание своего мучительного разговора с представителями израильского Министерства абсорбции. Они пытались убедить его *сделать алию* в Израиль вместо того, чтобы ехать в Америку.

— Давили на меня, стыдили. Место еврея-писателя, да еще пострадавшего от режима, в Израиле. Самое ужасное, что я отчасти согласен с тем, что они говорили. Оба парня в юности уехали из России — в начале 1970-х; они боготворят Израиль. Служили в армии. Один из них, со шрамом, был ранен в 1973-м. Он прочитал мой роман сразу после публикации в Израиле. Я не мог смотреть им в глаза.

— Теперь уже все позади, — сказала мама.

Отец молча кивнул.

— Кстати, они что-нибудь говорили о наших родственниках? — спросила мама.

— Да, они слышали о моем двоюродном брате, сыне дяди Пини. Оба сказали, что он знаменитый в Израиле скульптор и поэт.

— А о родных моего папы? — нетерпеливо спросила мама. — О моей тете они наверняка слышали — она много лет была директором курсов медсестер в больнице Хадасса в Иерусалиме. А мой дядя Хаим...

— Я дико хочу есть и пить, — сказал папа, меняя тему разговора.

Еще в аэропорту Сланский выдал каждой семье немного денег на всякий случай, на несколько первых дней. Направляясь в офис ХИАСа, где нас ждало

еще одно интервью, мы остановились у палатки с бутербродами и истратили почти все наши шиллинги на два бутерброда и пару бутылок апельсинового сока, разделив купленное на троих.

Штаб-квартира Общества помощи еврейским иммигрантам была в Нью-Йорке. ХИАС брал на себя заботу о еврейских беженцах с момента их прибытия в Вену и до высадки из самолета в Америке. В Вене каждый из нас должен был начать оформлять бумаги, необходимые для получения статуса беженца.

После томительного ожидания в громадном шумном помещении, напоминающем конференц-зал, мы были приглашены в кабинет, освещаемый старинным торшером с ярко-желтым абажуром.

Погруженный в себя сотрудник ХИАСа говорил оперным фальцетом, обращаясь не к нам, а к пекинесу, которого держал на коленях и поглаживал:

— А, москвичи. Элита, — сказал он отцу.

— Так я понимаю, вы хорошо говорите по-английски? — спросил он маму, не отрывая своих близоруких глаз от бумаг, лежавших перед ним на столе.

— Я преподавала английский в вузе. Меня уволили, как только мы подали документы на выезд, — ответила мама.

— А вы что хотели, чтобы вам после этого зарплату повысили? — заметил чиновник, выделяя токсичные пары восторга.

— Вы большой философ, — взвился мой отец, вечный диссидент, готовый всегда бороться за справедливость.

— Еще одно слово, — завизжал на отца сотрудник ХИАСа, и в глазах его сверкнул смертоносный зеленый луч, — и вы отсюда вылетите!

Помню, я сидел в тот момент и думал: ну что за глупый человечиска! Мы только прилетели, мы не провели на Западе еще и двух дней, а какой-то мелкий

тиран с собачкой уже издевается над нами. Даже прожив столько лет в свободной стране, этот карикатурный субчик не утратил мелкотравчатой злости того советского чиновника, которым бы, по-видимому, стал, живи он и по сей день в Советском Союзе.

Отец попробовал было встать на дыбы, словно конь, который тщится сбросить зарвавшегося всадника, и только мамина рука помогла ему удержать гнев в узде. На несколько минут отец застыл на самом краю стула, в раздражении разглядывая потертый рисунок ковра.

Тем временем чиновник почувствовал, что зашел слишком далеко, и обратился к отцу в примирительном тоне:

— Мне кажется, я читал что-то ваше. Рассказ или, может быть, поэму? Что-то в этом роде... Кажется, про жену Лота? Скажу вам, хорошо, что у вас есть профессия врача. В Америке писателей больше, чем уборщиц.

Он несколько минут изучал нас, а мы молча поглядывали на него со своих неудобных мест. Потом сказал, обращаясь одновременно ко всем трим:

— Старые отказники, да? Давно не встречал таких, как вы. Когда впервые подали на выезд? В 1978-м? 1979-м? Понятно, застряли из-за Афганистана. Много таких, как вы, остепененных, застряло. И что вы себе думали?

На пару минут он углубился в свои бумаги, затем поднял на нас масляные глаза.

— Так-с, посмотрим... Куда направляемся?

— В Вашингтон Ди Си, а может, в Филадельфию. Мы еще не решили, — ответила мама.

— Не решили? Почему нет? Лучше бы решить до того, как окажетесь в Италии.

Затем он рассказал, что ребенком вместе с родителями был в концлагере. Они выжили и в 1950-м уехали в Израиль.

— Я здесь, в Вене, уже много лет, — продолжал чиновник. — Моя жена из венгерских евреев. Тоже выжила. Она не знает русского языка, дома мы говорим на идиш или венгерском. Иногда на немецком.

Он повернул к нам фотографию в рамке, стоящую на его столе.

— Вы говорите, что в Москве изучали естественные науки. Что хотите изучать в Америке? — спросил он меня под конец интервью.

— Литературу, — ответил я.

— Литературу? А почему не медицину, не бизнес, не юриспруденцию? — Настольный вентилятор отражался в его золотых зубах.

— А знаете, что означает ваша фамилия? — спросил он меня. — Крикун, крикун!

Русский язык чиновника окислился и позеленел за эти долгие годы.

— Не делайте глупостей. Не катайтесь на метро без билета или что-то вроде этого, — предупредил он нас, выдавая денежное пособие на неделю. — Примерно через неделю-полторы, — сказал он заговорщическим тоном, — вы уедете ночным поездом в Италию. Будьте готовы.

Выданные деньги позволили нам не чувствовать себя в Вене безнадежными нищими. Мы осмотрели дворец Габсбургов и постояли у витрины, разглядывая ту самую корону, которая когда-то объединяла Австрию и Испанию. Любитель верховой езды, я уговорил родителей посмотреть выездку жеребцов в Испанской школе верховой езды. После позднего обеда в кафе под открытым небом мы бродили по Юденплацу, бывшему центру старого еврейского гетто, где синагога была разрушена разбушевавшейся толпой во время погрома в середине XV века. Это был настоящий погром, но как странно, по-варварски, звучало это русское слово в Вене, на площади, где

когда-то жил Моцарт. Погром в Вене? Этот смысловой диссонанс вызвал разброд и шатание в мыслях, но вокруг была такая красота и благодать — все прочило счастье и покой нашей семье еврейских беженцев из СССР.

В Габлиц мы вернулись на автобусе точно к ужину. На следующий день не поехали в Вену, решили отдохнуть и погулять по центру Габлица. Это был безобидный городок с ресторанами и магазинчиками, совершенно недоступными для нас в то время. Основными достопримечательностями были римская гробница и музей местной истории и искусств. Музей располагался в здании начальной школы и являл собой вереницу уходящих вглубь комнат и комнаток, заполненных до краев фарфоровыми безделушками, портретами местных аристократов и их гончих, олеографиями, гобеленами и акварелями с изображениями Венского леса в разное время дня и года, рукописями австрийских писателей, гостивших в Габлице, и, что неизбежно для таких музеев, целым арсеналом мечей, шпаг и сабель, шлемов, кольчуг и лат — арсеналом столь богатым, что можно было бы вооружить все население городка. В музее не было ничего, что бы свидетельствовало о годах нацизма в Австрии¹.

Мы с родителями бесцельно слонялись по открытому австрийскому городку, разглядывая витрины, наслаждаясь спокойствием, стараясь освободиться

¹ Спустя три недели, уже в Италии, я прочитаю третий сборник русских рассказов Владимира Набокова «Весна в Фиальте». Там есть рассказ под названием «Посещение музея». В этой фантазмагории русский эмигрант посещает местный музей где-то на французской Ривьере и теряется в пещерных коридорах истории. Читая набоковский рассказ на горячем черном песке тирренского пляжа в итальянском городке Ладисполи, я буду вспоминать о музее в Габлице, о невозмутимой абсурдности его собрания, об оленьих рогах и охотничьих сценах и о выборочном подавлении памяти о прошлом.

от бремени последних двух месяцев, предварявших отъезд из России. И все еще находились в состоянии какого-то дикого изумления.

В пансион мы возвращались другой дорогой и по пути набрали на небольшой продуктовый магазин. Изобилие еды, громоздящейся на полках и за стеклянными дверьми холодильников, поражало, и этот магазин означал для нас нечто большее, чем музейчик в центре Габлица, в котором мы только что побывали. Улыбающийся хозяин с полным румяным лицом и мясистыми руками, в голубом переднике, подвязанном на животе, не сводил с нас глаз, пока мы брали и взвешивали в руках различные пакеты и жестянки, пытаясь навскидку понять, сколько же это может стоить.

В конце концов мы купили буханку вкуснейшего ароматного ржаного хлеба, копченую грудку индейки, помидоры, бананы и пять-шесть разных йогуртов и кремов в пластмассовых стаканчиках. Рядом с магазином на улице стоял столик для пикника, где мы и уселись пировать под кроной старого вяза.

В двух шагах от магазина был бассейн, окруженный проволоочной изгородью и прямоугольником высокого кустарника. Мы подошли к входу и заглянули в полуоткрытые ворота. Какой-то старик спал в кресле, уронив газету на землю. Дети прыгали в воду и визжали от восторга. Женщины в купальных трусиках — неужели матери этих детей? — сидели в шезлонгах у бассейна, потягивая напитки из высоких узких бутылочек.

— Думаю, это частная собственность. Пошли отсюда, — сказал отец.

— Ну почему не спросить? — предложила мама и вошла в ворота.

Вскоре она вернулась, улыбаясь.

— Я разговаривала со служителем. Он был очень любезен. На самом деле это городской бассейн. Плата за весь день — всего три шиллинга.

Вернувшись в отель, мы быстро переоделись и двинулись обратно к бассейну. Пока шли, солнце скрылось за тяжелыми облаками и пошел дождь. Нам ничего не оставалось, как провести остаток дня в пансионе. В какой-то момент длинноногая Шарлотта, стоя за конторкой, мерзким голосом выкрикнула нашу фамилию: это друзья позвонили нам из Род-Айленда.

ХИАС организовал для беженцев бесплатные завтраки и ужины в пансионе. Ужин накрывали в семь. С первого вечера мы оказались за одним столиком с мадам Перельман, полной пожилой дамой из Москвы, с которой до этого ехали из венского аэропорта.

— Вы ведь уже познакомились с Шарлоттой, хозяйкой пансиона? — громко зашептала она, как только мы сели за стол.

— С Шарлоттой Длинный Нос? — переспросил я.

— Как вам не совестно, молодой человек, — осадила меня старушка.

— Но это же чистая правда!

— Вы даже не представляете себе, что я сегодня узнала! — сообщила нам мадам Перельман.

— Друг мой, позвольте предположить... — игриво начал мой отец. — Вы узнали, что наша Шарлотта — переодетый мужчина?

— Как вы можете такое говорить? Вы же доктор, образованный человек! Не то, что весь этот чернозем! — мадам Перельман презирала большую часть окружавших нас беженцев, выходцев из городов и местечек, входивших раньше в черту оседлости. Это и на самом деле были люди иной культуры.

Мадам Перельман достала кружевной платочек из ридикюля и продолжила: